

# СТАТЬИ

## Октябрьская революция: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ

П. В. Волобуев, В. П. Булдаков

*От редакции*

Учитывая интерес научной общественности и просьбы читателей журнала публикуется без изменений текст доклада П. В. Волобуева и В. П. Булдакова на XVIII Международном конгрессе исторических наук 2 сентября 1995 года<sup>1</sup>.

С крахом советского коммунизма исследователи Октябрьской революции оказались в совершенно новой историографической ситуации, впервые появилась возможность отказаться от идеологизации и политизации Октября, возник шанс двигаться от конкретного исторического материала к обобщениям, а не наоборот. Открылась перспектива использования при рассмотрении событий 1917 г. самых разнообразных методологий и методик. Короче говоря, «Красный Октябрь» может теперь стать «нормальным» объектом исторического исследования<sup>2</sup>.

Вместе с тем, нельзя не признать, что идеологизация, политизация и «этатизация» Октябрьской революции получили новые импульсы. В российской историографии сегодня тон задают антикоммунисты самого примитивного пошиба (в значительной степени перекарсившиеся из бывших догматиков марксизма), которые возрождают тезис о «верхушечном» характере Октября и чисто насильственном насаждении большевиками «тоталитаризма»<sup>3</sup>. В западной историографии, в свою очередь, пытаются взять реванш консервативные авторы, чья энергия в прошлом уходила на доказательство исторической «неправомерности» Октябрьской революции<sup>4</sup>. Несомненно, все это осложняет ход планомерного наращивания исторического знания, непредубежденного переосмысления прошлого и воссоздания многомерной картины событий 1917 года.

В принципе ядро «обновленческого» подхода к Октябрю было заложено еще в 60—80-е годы. Представляется, что в новых условиях стоит продолжить работу, начатую историками «нового направления» в СССР и «социальными историками» Запада, а также использовать все конструк-

*Волобуев Павел Васильевич* — академик РАН, председатель Научного совета РАН «История революций в России», президент Международной комиссии по истории Октябрьской революции; *Булдаков Владимир Прохорович* — кандидат исторических наук, заместитель председателя Научного совета РАН — «История революций в России», генеральный секретарь Международной комиссии по истории Октябрьской революции.

тивное из наследия всех советских и зарубежных авторов. Вместе с тем представляется, что в последнее время открылась возможность кардинального переосмысления истории русской революции в рамках проблемы «Человек и революция в XX в.»<sup>5</sup>.

Несомненно, рассмотрение разноплановых событий революции сквозь призму человеческой личности требует овладения документальной базой, связанной с массовыми источниками и документами личного происхождения — всем тем, что исходило «снизу». С другой стороны, обновление историографии Октября возможно только на фундаменте «локальной истории». Настоящий доклад ставит своей целью выявить наиболее перспективные подходы в исследовании революции 1917 г. и одновременно представляет собой попытку создания одной из возможных «моделей» революции, которая, как думается, способна стимулировать деятельность историков самых различных направлений.

**1. К вопросу о предпосылках революции.** Вопрос о предпосылках революции в условиях, когда привычное понимание ее смысла и значения оказалось поставленными под сомнение, выглядит наиболее сложным. Тот факт, что отпала нужда доказывать закономерность или случайность «социалистической» революции в отсталой России, ставит под сомнение значимость выявленных ранее «объективных» экономических и политических причин социального взрыва.

К настоящему времени наиболее распространенный взгляд на предпосылки революции связывает их с трудностями модернизации России. Действительно, исторический императив модернизации как будто объясняет и реформы 60-х — 80-х годов XIX в., и действия Вите и Столыпина, и последующую политику Ленина и большевиков. Но нельзя не учитывать, что субъективное осознание верха отсталости России в условиях их геополитических притязаний было ничуть не более острым, чем аналогичный взгляд на место страны в мире в Японии. Между тем «революция Мэйдзи» не приняла разрушительного характера. Очевидно, социальные издержки индустриальной модернизации при сохранении традиционных укладов в сельском хозяйстве России воспринимались массами куда более болезненно, что обусловило совершенно иное соотношение революции и реформы<sup>6</sup>.

Часто важнейшей и единственной причиной Октябрьской революции называют первую мировую войну. Действительно, большевистские антиномии («капитализм или социализм», «власть Советов или обычная буржуазная республика» и т. п.) вызваны к жизни войной. Нельзя не признать, что объективно большевиков подвели непосредственно к власти либералы и умеренные социалисты, вознамерившиеся продолжить войну, не считаясь с настроением народа. Но если так, то тем более уместно ставить вопрос о том, что в России возможности реформ усилиями старой власти и либерально-оппозиционного «общества» были ограничены в принципе; их реформаторство лишь провоцировало нетерпение и радикализм народных низов.

Представляется, что проблема предпосылок Октябрьской революции может быть поставлена на реальную почву при условии, что мы будем рассматривать и революции 1917 года, и гражданскую войну 1917—1922 гг. как часть системного кризиса империи<sup>7</sup>. Из сказанного вовсе не следует, что всякие компаративистские подходы к Октябрю лишаются смысла. Так, кризис «верхов», политические перипетии 1917 г., поведение маргиналов, реакция крестьянства вполне сравнимы с событиями Великой Французской революции; движение крестьянских масс имеет также немало общего с мексиканской и китайской революциями; поведение рабочих и их лидеров сопоставимы с событиями Парижской коммуны. Есть, однако, в революции 1917 г. принципиально новые моменты: непосредственное воздействие мировой войны, превращение социалистических идей в едва ли не главный компонент сознания масс, «упрощение» многомерных социальных конфликтов до противостояния «верхов» и «низов», «чужого» и «своего», «старого» и «нового», этнонациональный фактор, «партийная»

диктатура над Советами и т. д. Если так, то придется ставить вопрос об особом эмоционально-психологическом преломлении объективных экономических и социальных противоречий России в общественном сознании, обусловившем своеобразии революции.

В любом случае понимание специфики российской революции, особенностей ее развертывания и долговременных последствий связано с переосмыслением российского имперства — уникальной сложноорганизованной этносоциальной системы, более чем своеобразно «размазанной» историей по поверхности одной шестой земной суши.

**2. Динамика назревания и нарастания кризиса.** Качественно новый взгляд на динамику развертывания революции можно предложить, если иметь в виду, что в лице России мы имеем не просто империю (традиционную или «новейшую» капиталистическую), а империю «реликтового» типа. Основу формирования последней составила не логика примитивной экспансии, а особая форма этатизации, вызванная культурологическими, геополитическими и социопатерналистскими установками ее населения. Грубо говоря, патерналистская первооснова российского имперства упорно не поддавалась рационализации, совершенно необходимой для модернизации. Сказанное — не дань старому и современному славянофильству, а реальный — пусть трудноуловимый — фактор вызревания российских кризисов, столь остро проявивших себя в XX веке.

Российская империя естественно складывалась, а затем стала идентифицироваться властью и ее идеологами как образцовая самодостаточная система — пример для остального «несовершенного» мира. Империя пыталась утвердиться как особая культура; кризис же ее оказался связан с социокультурной несовместимостью европейски образованных «верхов» и традиционалистских «низов» на решающем этапе модернизации.

Кризис империи назревал весьма долго, незаметно, а проявился чрезвычайно резко, социально аффектировано, «стихийно». Можно выделить несколько «уровней» (стадий, этапов) кризиса: этическая, идеологическая, политическая, организационная, социальная, охлократическая, доктринально-возрожденческая. Этическая стадия кризиса связана с десакрализацией власти, начавшейся в связи с попыткой подмены старого самодержавия деспотическим бюрократизмом в эпоху Петра I. Идеологический компонент кризиса обеспечило формирование европейски-рационалистической элиты. Политическая стадия кризиса была обусловлена разделением элиты на бюрократию и оппозицию. Вползание в организационную неразбериху и управленческую неэффективность связано с тем, что оппозиция, нравственно и интеллектуально подавив бюрократию, приступила к выработке альтернативных структур — от партий до общественных организаций, в результате чего функции управления вступили в противоречие со слабыми ростками самоуправления. Социальная стадия кризиса империи оказалась связана не просто с ухудшением положения масс, а с растущей убежденностью их в том, что единственным виновником этого являются «чужие» правители. Охлократический этап вызван не только маргинализацией социумов, но и способностью социальных отщепенцев объединяться в толпы, заражающиеся утопиями и психологией вседозволенности. Наконец, доктринально-возрожденческий этап кризиса связан с «остыванием» общеимперского социума, когда новая революционная власть стала навязывать свои цели народу.

Как бы ни соотносились между собой эти компоненты или этапы системного кризиса империи, для революций 1917 г. на деле решающее значение имели не политические конфликты в «верхах», а социальная борьба низов за выживание. Охлократическое буйство маргиналов в условиях неэффективности высшей власти также сыграло свою роль, особенно заметную на фоне выжидательного поведения большинства народа. Поэтому центр тяжести в анализе событий революции стоит перенести на ментальность и, особенно, психологию масс — именно они позволяли «упасть» или «удержаться» той или иной политической верхушке. Действия властных элит, со своей стороны, уместно интерпретировать как почти безнадежное

стремление стабилизировать ситуацию, восстановить «порядок», исходя не из необратимости радикальных перемен и неуклонного движения масс, а руководствуясь идеалом оставшегося позади «спокойного» времени и привычного соотношения европеизированных элит и народа. Деятельность умеренных социалистов (несмотря на благие намерения) выглядит и того более жалко и безнадежно. Отстав от полевевших масс, они пытались навязать им «рациональный» образ действий в условиях, когда те разочаровались в любом лидере «старого» типа. Наконец, поведение большевиков в этот период пронизано стремлением «слиться с массой» (выражение Ленина), а затем возглавить ее, поощряя наиболее радикальные ее действия, отождествляемые с «революционным творчеством».

Движение масс следует оценить не по критериям политиков (левых или правых), а на фоне традиционной политической культуры народа, определяемой инстинктом и идеалом «своей» всемогущей власти. Точно так же политиков революционной поры неуместно судить по взаимным оценкам и, тем более, самооценкам. Объективным критерием может выступать фактор соответствия их действий народным ожиданиям и меняющейся психологии, а также умение использовать элементы традиционной политической культуры для решения конструктивных задач, стоящих перед страной.

**3. Психосоциальная интерпретация революций 1917 года.** В отличие от политических интерпретаций, психосоциальный анализ событий 1917 г. открывает совершенно новые возможности и перспективы. Вопреки представлениям, «событийной» историографии, критической точкой 1917 г. станет не «большевистский» Октябрь, а «демократический» Февраль. Для поведения масс, не изживших патерналистских представлений о власти, наибольшее значение имел самый факт ее падения, а вовсе не присвоения ее функций кем бы то ни было. Октябрь, напротив, означал начало процесса «собирания» власти, в необходимости которой низы не сомневались.

Вместе с тем Февраль означал тот реальный успех идеи «справедливости» в социальном движении масс, который следовало без промедления «сакрализовать» на высшем уровне (хотя бы в форме Учредительного собрания). Это не было сделано и не могло быть сделано доктринерами, что объективно означало потворствование хаосу. Октябрь, напротив, выглядит как успех тонкого слоя большевизированных рабочих, солдат и громадной массы маргиналов, причем последние привнесли психологию социальной вседозволенности, которая в российском социокультурном пространстве рано или поздно должна была обернуться своей противоположностью.

В целом, переломным моментом в течении российского кризиса следует считать не октябрь 1917 г., а период с октября 1917 г. до лета 1918 г.<sup>8</sup>, в течение которого основная масса населения, реализовав требование земли, затем натолкнулась на окрепшую власть, которая заставила ее (пока неуверенно) платить по счетам. Весь же период с февраля 1917 г. до лета 1918 г., следовательно, можно обозначить как наиболее активный этап синергетического процесса «смерти-возрождения» империи, в ходе которого народная демократия и маргинальная охлократия взаимно подпитывали и истощали друг друга, играя тем самым на руку возрождению властных начал российского имперства — на сей раз в под-сказанной народом форме Советов.

**4. Конструктивное противодействие эскалации кризиса.** Ныне принято считать, что в 1917 г. действовали параллельно несколько социальных революций — солдатская, рабочая, крестьянская, национальные, равнодействующая которых и определила облик Октября как «пролетарски-плебейской» революции. Вопреки внешнему радикализму и классово непримиримой риторике, все эти революции носили в своей основе защитный характер борьбы за выживание: «анархия» связана с противодействием им со стороны консервативных и умеренных политических элит, что подхлестывало буйство численно растущих маргинальных элементов.

*Движение солдатских масс* — этих, казалось бы, наиболее массовых и непримиримых маргиналов — может показаться чисто разрушительным

в своей откровенно антивоенной и даже «шкурнической» направленности. Но, во-первых, следует принципиально разделять начальный и конечный этапы их движения, учитывая, что противоположные (конструктивные и анархические) тенденции наличествуют в сознании и движении масс всегда. Во-вторых, необходимо отделять солдат тыловых гарнизонов (среди которых преобладали новобранцы) от фронтовиков (в определенной части ставших профессионалами). В-третьих, уместно разделение солдат-фронтовиков по родам войск (первыми «разложились» балтийские матросы и пехота, затем артиллеристы и лишь в последнюю очередь кавалерия и казаки) и фронтам (отдаленные от столицы и крупных городов вели себя спокойнее). Наконец, нельзя не учитывать, что большинству российских солдат (в массе бывших крестьян) цели войны были непонятны; крушение старой власти воспринималось ими как долгожданный поворот к социально справедливому миру.

Новейшие исследования (Э. Модели, М. Френкин, А. Уайлдман и др.) позволяют заключить, что в действиях солдат-фронтовиков после мартовской борьбы с офицерами возобладало здравомыслие и даже частично чувство «революционного патриотизма». По признаниям военачальников, солдатские комитеты некоторое время поддерживали дисциплину. Позднее немалое число солдат (особенно тыловых гарнизонов), разочаровавшихся в армейской «демократизации», стало покидать фронт под прикрытием антивоенных политических лозунгов. Со временем они, однако, обнаруживали стремление к самоустранению от политической борьбы и возвращению домой для закрепления успехов крестьянской революции. Сознательными революционерами становились, как правило, матросы.

*Социальная борьба рабочих* изучена довольно полно<sup>9</sup>, хотя региональных исследований явно недостаточно. Обнаруживается, что рабочие более чем кто бы то ни было были заинтересованы в сохранении современного производства и укреплении регулирующей роли государства. Для них характерна высокая степень профессиональной, а также, в сравнении с другими классами, политической самоорганизации; продвинутость рабочего контроля (который, помимо всего, можно рассматривать и как попытку строительства «своей» власти «снизу», и как опыт налаживания горизонтальных хозяйственных связей); устойчивость демократических установок при внешней приверженности социалистическим идеям. Рабочие, при всем своем социальном радикализме, стачечной активности, не отказывались от компромисса с предпринимателями и властью. Они поддерживали скорее Советы, чем большевистскую власть, рассчитывая на выборную смену депутатского корпуса.

*Крестьянское движение*, несмотря на обилие исследований<sup>10</sup>, выглядит наименее изученным. Как бы то ни было, его содержание можно свести к «общинной революции» (термин введен В. Бухараевым и Д. Люкшиным) — попытке самим (с согласия правительства) устранить «нетрудовой» элемент в деревне и установить «справедливые» отношения с любой понижающей их нужды властью.

Самоорганизационные потенции крестьянства были связаны не только с крестьянскими, земельными, продовольственными комитетами и, тем более, Советами и комбедами, но и с традиционным сельским сходом. Нет необходимости сближать крестьянское движение с классовой борьбой в городе: в его основе лежала хозяйственная борьба за землю и угоidia против всех — от помещиков до государства. Борьба с хуторянами и отрубниками была начальной стадией противостояния общины «внешнему» миру. Представляется, что естественный продуктообмен снял бы остроту последующей борьбы крестьян с «городом». Крестьяне попросту хотели, чтобы их навсегда оставили в покое, дали возможность жить по-своему.

Несомненно, что в крестьянском движении наиболее остро проявил себя главный социокультурный раскол — противостояние модернизирующейся России и традиционной политической культуры.

В целом, оценивая «революционаризм» солдат, рабочих и крестьян, следует принципиально разделять «бунтарство» и практический интерес:

первое обычно носило «случайный», эмоциональный характер, второй отражал долговременные социальные надежды и расчет.

*Действия средних городских слоев* выглядят наиболее политизированными. На деле это касается преимуществ «новой» их части, то есть служащих и лиц свободных профессий. В целом они поддерживали умеренные по меркам 1917 г. партии, надеясь с их помощью стабилизировать ситуацию в городах. Вместе с тем движение служащих и Советов депутатов трудовой интеллигенции за союз «пролетариев пера и молотка» показывает, что определенная часть интеллигенции рассчитывала больше на «революционный», а не привычный порядок, связывая достижение общественного согласия с новыми организационными формами и институтами.

*«Революции национальностей»*, которым, по-видимому, никогда не избавиться от обвинений в сепаратизме, на деле были попыткой перестройки империи на этнотерриториальной и культурно-автономистской основах, которые ничуть не противоречили традиционным формам унии высшей власти с территориями и народами. Но при этом внутри национальных движений социальные факторы, как правило, преобладали над культурными. Что касается сепаратистских настроений, то до октября 1917 г. их удельный вес был поразительно мал. Полагать, что национальные революции разрушили империю, значит валить с больной головы на здоровую: этносы «побежали» от разрушающегося, по их представлениям, центра, а вовсе не «предали» его.

*Действия имущих классов* на этом фоне выглядят как слепая реакция на объективно идущий процесс самоорганизации социальных низов. Социальный эгоизм имущих классов брал верх над здравым смыслом. Предприниматели и землевладельцы после Февраля безуспешно и активно пытались организовать борьбу с «анархией и разрухой». Практически же для преодоления того и другого на неправительственном уровне они ничего сделать не сумели. Подсознательно они надеялись выжить в прежнем качестве, хотя объективно в 1917 г. это было уже невозможно (лишь позднее помещики готовы были с санкции власти организованно передать землю крестьянам); проектов радикального преобразования хозяйственной жизни страны не имели. Самим фактом своего существования в качестве все более презираемых массами «буржуев» (этот ярлык был наклеен им низовыми социалистами, причем далеко не одними большевиками) имущие классы все более провоцировали эгалитарские устремления трудящихся масс, не говоря уже о люмпенах.

Изучение *роли женщин в революции* получает развитие лишь в последнее время. В принципе тендерные исследования (включая сюда и анализ возрастных характеристик участников революции и реакцию детей на происходящее) способны привести к завершению создания целостной картины движения масс в 1917 г. и, что более важно, осмыслению его долговременных социокультурных последствий. Хотя Февральская революция и началась с женских хлебных бунтов, в дальнейшем женское движение скорее способствовало смягчению социальных противоречий.

Оценивая психосоциальные подвижки во всех слоях народа, становится очевидным, что при меньшей эмоциональности и большем уважении к закону системный кризис империи никогда не обернулся бы открытым расколом общества. Так называемое углубление революции на неполитическом уровне движения масс носило скорее «перестроечный», а не конфронтационный характер. Преобладали силы социального самосохранения, а не классового эгоизма. Институционный анализ хода революции убеждает в этом.

**5. Институционный анализ кризиса отношений власти и народа.** Динамику революционного процесса ранее было принято связывать не столь с действиями «улицы», как политических партий, наиболее радикальная из которых, как считалось, и довела до логического конца исходное противостояние Временного правительства и Советов. Стоит, однако, предположить, что не партии определили институционные подвижки в системе власти — подчинения, а, напротив, сами становились заложниками процесса самоорганизации масс, не умея при этом адекватно реагировать на него.

В пользу такого подхода, говорит, в частности, и то, что программные разногласия между меньшевиками и эсерами были перекрыты их единомыслием на почве «оборончества», а классово-непримиримая риторика — «соглашательством» в Советах.

Представляется, что мнение о «двоевластии», как основном факторе гражданского раскола нуждается в серьезном уточнении. Двоевластие, во-первых, существовало кратковременно — в первые послефевральские дни. Во-вторых, его скорее можно трактовать в рамках неантагонистической схемы правительство — оппозиция, соответствующей в известной степени и традиционной парадигме российского имперства: народу — мнение, царю — власть. В-третьих, в провинции после Февраля даже и намека не было на двоевластие, в дальнейшем там скорее шло «размывание» официальной власти. Наконец, нужно учитывать, что самый термин двоевластие вошел в научный оборот с подачи политиков, которые подспудно связывали возможность реализации своих программ с действиями общероссийского властного центра. Если обратиться к региональному (то есть «среднероссийскому», а не столичному) «уровню» движения революции, то обнаружится, что реальная власть на местах перешла не к новоназначенным комиссарам Временного правительства, не к опирающимся на силу Советам, а к созданным явочным порядком комитетам общественной безопасности (была масса и других названий)<sup>11</sup>. КОБ'ы фактически представляли собой орган квазиреволюционного и вместе с тем псевдособорного типа, куда входили на равных представители всех партий, различного рода профессиональных, национальных объединений и Советов. Ими фактически смещались «чужие» и назначались «свои» правительственные комиссары. Относительная сила КОБ была в том, что они организационно связали старые органы самоуправления и общественность.

КОБ'ы, как никакой другой институт революции, могли стабилизировать — разумеется, при известной солидарности их членов — ситуацию. Но возможности институциональной самонастройки системы вскоре были нарушены. И здесь решающую роль сыграли не Советы как таковые, а европеизированные политические доктринеры, решившие заменить эти «странные» органы на «правильно» (то есть на основе всеобщего избирательного ценза) созданные муниципалитеты. Тем самым давался наилучший шанс партийным доктринерам и демагогам.

В ходе до предела политизированной муниципальной кампании стабилизирующая система корпоративного представительства оказалась расколота на «демократический» и «цензовый» элементы. В муниципалитетах засели преимущественно лишенные деловых качеств партийные лидеры, склонные к распрям. Недееспособность органов самоуправления в социальной сфере автоматически усиливала значение Советов. Но последнее, не только в силу левизны концентрирующихся там политиков, но и по самой институциональной логике кризисной эпохи могли сохранить свое влияние только как эпицентр радикальных настроений. Между тем Советы, первоначально опиравшиеся на классовые профессиональные и производственно-локальные (заводские) центры, со временем потеряли иммунитет против страшного русского порока — соединения демагогии с бюрократизмом. Последнее было связано с возобладанием в них политиков-доктринеров — на сей раз более левых и еще менее практичных.

После корниловского выступления реальное властное начало на местах в значительной степени переместилось от Советов в фабзавкомы и казармы — туда, где имелись вооруженные силы, способные создать видимость народного противостояния якобы растущей контрреволюции. Именно жуткий призрак правой диктатуры, как это обычно бывает на определенной стадии революции, позволил крайне левым вождям держать массы в напряжении.

В деревне ситуацию могло спасти укорененное всесословное земство. Но такое редко где существовало; отсутствовала также сбалансированность самоуправления различного уровня (от губернского до волостного). В этих условиях реальной низовой властью становились сельские сходы —

революционные по отношению к любому другому властному центру, консервативные по своей замкнутости на делах общины. А поскольку авторитет священников пошатнулся, крестьяне оказались идейно беззащитны перед лицом крайних демагогов и радикалов. Низовые крестьянские комитеты стали выходить из подчинения вышестоящим, где засели все более бюрократизирующиеся эсеровские политики.

В государственном масштабе сохранить институционный баланс власти могли бы созыв Учредительного собрания или конституирование в качестве такового «соглашательского» съезда Советов — не позже июля 1917 года. Но в том и другом случае как кадетские правоведы, так и умеренные социалистические лидеры отсекали эту возможность своей приверженностью к формальной законности. Псевдособорные органы, появившиеся позднее — как Государственное, так и Демократическое совещание — теперь уже не могли выправить положение. В принципе, и КОБ, и Советы, и фабзавкомы, и крестьянские комитеты могли стать действенными элементами демократического обновления страны. Но рационализм и государственная масштабность мышления — то, что могло бы обезпечить продуктивность этих организаций и конструктивность их взаимодействия, — в 1917 г. не относились к числу главных психоментальных достоинств россиян. Демократическую революцию, а равно и возможность «плавного» течения кризиса отсекали партийные доктринеры (главным образом меньшевики и эсеры), так и не сумевшие понять этого. Не удивительно, что к власти пришли большевики, генерировавшие массовую стихию до ее истощения.

**6. Механизм эскалации социального психоза.** Всякая революция — как и любая экстремальная ситуация — обнажает крайние стороны человеческой натуры. Наряду с выявлением лучших людских качеств революции демонстрирует всю гамму психопатологии массового сознания. Эта последняя менее всего изучена, хотя ее присутствие отмечали все наблюдатели. Свое веское мнение на этот счет оставили В. Вернадский и П. Сорокин. Последний даже заявил, что в революционную эпоху в человеке просыпается не только зверь, но и дурак<sup>12</sup>.

Если отвлечься от притягательности этого образа, то встанет задача выявления глубинных источников девиантного поведения части народа. Простая констатация увеличения массы маргиналов вряд ли до конца прояснит суть дела.

Принято считать, что в любом обществе в любую эпоху количество ненормальных составляет приблизительно один процент. Сомнительно, что даже в условиях тотального переворота всей системы ценностей и всеобщей «депрограммированности» такие люди могли бы естественно повести за собой массы. Очевидно, дело не в «революционных психах», а в достаточно неопределенной прослойке «полунормальных» или психопатических лиц, приобретающих возможность «заражать» растущий слой социально-неприкаянных. К числу последних можно отнести часть солдат, беженцев, депортированных, безработных, люмпенов, пауперов, военнопленных и т. п., общая численность которых могла достигать 20 млн. человек. Разумеется, среди них было предостаточно и «революционных идеалистов», и «загнанных в угол» обстоятельствами людей, и «оборотней революции» (тех, кто цинично использовал социальный хаос в корыстных интересах).

В какой прогрессии росла масса «революционеров» с девиантным поведением, какие бездны человеческого подсознания обнажались при этом — выявить все это задача достаточно сложная. В любом случае для раскрытия механизма нарастания психопатологии революции следует досконально представлять быт, нравы, мораль и «новые» (скорее «перевернутые») стереотипы поведения того времени; не брезговать анализом таких прозаических вещей как пища, санитария, жилище, отношение к собственности, восприятие преступности, потребность в наркотизации, вульгаризация половых отношений, ощущение смерти. Революция — дело рук «маленького» человека, доведенного до отчаяния непонятными для него объективными обстоятельствами. Это погромная реакция на дурную власть.

Для осмысления «человеческих» истоков революции достаточно много

сделано психоаналитиками. В сущности, всю русскую литературу пред-революционной, революционной и постреволюционной поры можно анализировать под таким углом зрения. Наряду с этим воспоминания современников (главным образом «неполитиков») дают нам картину порожденного войной озверения масс — обычно под сверхценностными лозунгами.

Переломным моментом впадения в социальную нетерпимость, а затем и буйство, вероятно, следует считать Февральскую революцию. С этого времени все, связанное со старым, для значительной части общества стало объектом поношения и глумления; копившиеся десятилетиями отрицательные эмоции оказались легитимизированы. С победой Февраля Россия, да и весь мир предстал в черно-белом свете. Через взаимное заражение социально-историческим дальтонизмом произошло изменение отношения к насилию: то, что раньше в обыденном сознании граничило с уголовщиной, стало объектом восхищения. Террору стали приписываться функции очистительного исторического жертвоприношения, бомбометатели предстали праведными жертвами старого режима.

Для любой победившей революции на первый план выдвигается задача противодействия «недобитой» контрреволюции. Сила последней преувеличивается тем более, что революционеры плохо представляют себе технологию строительства нового общества, а потому нуждаются в «виновниках» своих неизбежных промахов.

В русской революции поражает не столько количество «вождей», как обилие «вожаков». Фигуры первых известны — чаще это бессребренники, сконцентрированные на видениях «светлого будущего» и ради его приближения работающие на износ, до утраты способности замечать людские страдания. «Вожак», напротив, это чаще расчетливый манипулятор толпой, разжигающий ее примитивные страсти и черпающий силы в людском неведении. До сих пор эта «средняя» фигура революции наименее изучена. Между тем, именно через нее можно понять, как светлая вера во всеобщее счастье оказалась потеснена идеей «грабь награбленное».

Лозунги революции образуют знаковый ряд трансформации «старого» в «новое». Абсолютизировать их нельзя — они действительны ровно настолько, насколько резонируют с социальным нетерпением и традиционными (или «перевернутыми») стереотипами поведения. Исследователи давно отметили, что всепрощенчество первых дней революции (часто следующее за вспышкой гнева) скоро сменяется новой волной жажды мести. Эта последняя затем принимает характер жертвенной ритуальности — до тех пор, пока не превращается в «конвейер смерти». В эту пору общество уже перестает различать грань между убийством и смертью. Известная «замещенная суицидность» революционеров приобретает социально значимый характер.

Несомненно, что исследование массового девиантного поведения — занятие не для слаборвневных. Как бы то ни было, не замечать темных сторон революции — значит в конечном счете отказаться от ее познания вообще.

**7. К переосмыслению большевизма.** О большевиках до сих пор пишут либо в хвалебных, либо в ругательных тонах. Фигуры Ленина и Троцкого — этих наиболее рельефных функциональных величин русской и мировой революции — обычно предстают либо объектами умиления, либо безразличного отторжения. Лишь немногие авторы (Ф. Помпер, Р. Сервис) нашли в себе силы и способность измерить вождей революции на шкале большого исторического времени; у других авторов (Р. Пайпс, Д. Волкогонов) они выступают ключевыми фигурами сегодняшнего обывательского неприятия советского прошлого.

И Ленин, и Троцкий с самого начала исходили из того, что революцию невозможно делать в белых перчатках, — но это не апологетика аморализма, а реакция на безнравственность старого мира, готовность взять на себя «грех» революции. Тем более важно соблюсти по отношению к ним беспристрастность, ибо мы имеем дело не с палачами, а с героическими «жертвами» переломного времени.

В основе большевизма лежала жажда революционного обновления России, связанная с представлением о тупиковом характере всего тогдашнего мирового капитализма. Разные по своему историческому происхождению и социальной природе — новые и старые, российские и мировые антагонизмы в ходе войны переплелись в столь сложный узел, что разрешить его «обычным» путем уже не представлялось возможным. Большевики правильно уловили, что возможен выход за пределы тогдашнего капитализма, то есть мировая антибуржуазная революция. Именно это позволило им, сознавая, что Россия экономически и культурно не созрела для социализма, призвать народ стать авангардом мировой революции, чтобы затем, через постепенное преобразование российского общества «сверху», плавно вписаться в европейскую цивилизацию. Было бы неверно оценивать их действия как авантюру. В масштабах России это было осознанным «забеганием вперед», основанным на использовании высвободившейся энергии народа. Это был новый, революционный тип модернизации.

«Заблуждение» или парадоксальность победы большевизма состоит в том, что рассчитывая на сознание лучшей части общества, он на деле мобилизовал историческое подсознание народа, выплеснувшееся через насилие и утвердившееся через признание нового авторитаризма. Но лидеры большевизма пытались преодолеть и это — самое трудное, как показал исторический опыт — «человеческое» препятствие на пути обновления общества.

В любом из своих проявлений большевизм исторически поразительно функционален. В современных условиях трагизм этой ситуации понять трудно. Обычно ленинские надежды на «ум, честь и совесть эпохи» подлежат осмеянию, но при этом забывается, что эта формулировка скрывала за собой отчаяние перед неспособностью тогдашней европейской демократии избавить человечество от войны и предрасположенностью парламентских партий к карьеристскому перерождению. Еще большим насмешкам подвергается пресловутая ленинская «кухарка», которой надлежало научиться управлять государством, а между тем без развитой способности к самоуправлению и контролю над «верхами» со стороны «низов» общество становится плутократическим источником всеобщей опасности.

Ленин не мог оставить после себя долговременного проекта переустройства России. Тем более важно понять, что его «завещание», помимо самых общих советов и размышлений, пронизано «последней» надеждой на коллективный разум лучших людей страны.

Революция, сколь грязными и трагичными ни выглядели бы ее страницы, все же остается жизнеутверждающим актом, как и рождение всего нового. Сегодня очевидно, что русская революция нуждается в качественно новых подходах, основу которых должна составить та предельная объективность, которая одновременно является и истинно гуманистической позицией.

### *Примечания*

1. Текст доклада предназначался главным образом для зарубежных специалистов. Минимальные коррективы, приближающие читателя к историографическим реальностям сегодняшнего дня, внесены лишь в примечания.
2. Тенденция деполитизации и деидеологизации историографии Октября в работах российских авторов проявила себя еще в 1989 г. (см.: Россия, 1917 год: выбор исторического пути. М. 1989), но в дальнейшем развивалась очень неуверенно (см.: SCHISHKIN V. A. The October Revolution and Perestroika: A Critical Analysis of Recent Soviet Historiography. — European History Quarterly. Vol. 22, № 4, October 1992, p. 517—540; ВАСЬКОВСКИЙ О. А., ТЕРТЫШНЫЙ А. Т. Феномен диктатуры пролетариата (1917 год в России в оценке историков). Екатеринбург. 1995).
3. Имеются и разительные перескоки от апологетики большевизма к осуждению «тоталитаризма» (см.: ТРУКАН Г. А. Революция, которая потрясла мир. — История СССР, 1990, № 1; его же. Путь к тоталитаризму. 1917—1929 гг. М. 1994).

4. PIPES R. The Russian Revolution. N. Y. 1990; ejusd. Seventy— Five Years On — The Great October Revolution as a Clandestine Coup d'Etat.— Times Literary Supplement, 1992, 6 Oct.
5. 28—30 ноября 1994 г. Научный совет РАН провел первую, а 14—15 ноября 1995 г. вторую из серии запланированных конференций, посвященных этой проблематике. На Западе проблематика «Революция и человек», возможно, получит дальнейшее развитие в рамках либертарианского переосмысления революции (см.: ACTON E. Rethinking the Russian Revolution. Lnd. 1990).
6. BONWETSCH B. Die Russische Revolution 1917. Darmstadt. 1991.
7. BULDAKOV V. Revolution or Crisis of Empire?— Bulletin of the Aberdeen Centre for Soviet and East European Studies, 1993, № 4, June, p. 9—10; ejusd. Die Oktoberrevolution in der russischen und osteuropaschen Geschichte.— Berliner Jahrbücher für osteuropäischen Geschichte, 1994, Bd. 1, S. 53—58; его же. XX век в истории России: имперский алгоритм? В кн.: Национальные отношения в России и СНГ. М. 1994. с. 122—131.
8. См.: Россия, 1917 год: выбор исторического пути («Круглый стол» историков Октября, 22—23 октября 1988 г.). М. 1989, с. 23 (выступление П. В. Волобуева).
9. См.: FLENNY R. Rethinking the Russian Revolution. — European History Quarterly, 1989, Vol. 13, № 1, p. 105—113; KOTKIN S. «One Hand Clapping»: Russian Workers and 1917.— Labor History, 1991, Fall, Vol. 32, № 4, p. 604—609; MOON D. Agriculture and Peasants, Industry and Workers, Political Parties and Revolution: Recent Books on Russian History.— European History Quarterly, 1992, Vol. 22, № 4, p. 597—604.
10. См.: SHANNON J. From Muzhik to Kolkhoznik: Some Recent Western and Soviet Studies of Peasants.— The Slavonic and East European Review, Vol. 70, № 1, January 1992; FREEZE G. New Scholarship on the Russian Peasantry.— European History Quarterly. 1992, Vol. 22, № 4, p. 605—616; Менталитет и аграрное развитие России (XIX—XX вв.). М. 1996.
11. ГЕРАСИМЕНКО Г. А. Первый акт народовластия в России: общественные исполнительные комитеты (1917 г.). М. 1992; его же. Народ и власть. 1917. М. 1995.
12. СОРОКИН П. А. Долгий путь. Сыктывкар. 1991, с. 87.